

Локализация постсоциалистической прекаризации в глобальной колониальности

Деколониальная рамка для 1989 года?

Дженнифер Сучланд

Введение

Деколониальность — это критическое мировоззрение, родившееся из опыта и сопротивления колониализму поселенцев и имперскому завоеванию. Хотя логика поселенчества и колониализма действительно является транснациональной и современной, 1492 год играет значимую гравитационную роль в теориях колониальности и подходах к деколониальности. Временные рамки колониализма, подразумеваемые под 1492 годом, как географически, так и идеологически на несколько лет удалены от тех, что находятся в центре 1917 или 1989 годов. В центре внимания данного эссе - вопрос о том, находится ли постсоциализм в его восточноевропейском и евразийском контекстах внутри или связанным с конкретными генеалогиями (и сопутствующими логиками), подразумеваемыми 1492 годом. Каковы связи, если таковые имеются, между 1492 и 1989 годами?

Я использую идею постсоциалистической прекарности как способ осмысления того, что считается и предполагается как две разные критики власти - постсоциалистическая и деколониальная. Постсоциалистическая прекарность представляет собой критическую линзу, которая специально рассматривает разнообразный геосторический опыт, возникший в результате демонтажа государственной социалистической современности и (повторного) включения относительно закрытых экономик в капиталистический неолиберальный порядок. Хотя этот геосторический опыт неоднороден и (заново) порождает множество иерархий в постсоциалистической Европе и Евразии, я рассматриваю "постсоциалистическую прекарность" как составную категорию, чтобы подчеркнуть точку напряжения/связи с деколониальным подходом. Осознавая предварительный характер таких обобщений, я вынуждена исследовать этот вопрос как способ преодолеть скрытый или восстановленный европоцентризм, присутствующий в "критических" постсоциалистических теориях, включая мою собственную. После определения постсоциалистической прекарности и подчеркивания роли границ и создания границ в ее производстве, я ввожу понятие глобальной колониальности, уделяя особое внимание роли евроцентризма как в затушевывании расовых эпистемологий, так и в построении временных сюжетных линий, которые фиксируют, а не дестабилизируют властные отношения.

Постсоциалистическая прекарность

Прекарность - это термин, используемый в последнее время для критики политической и экономической политики, которая поощряет жесткую экономию, сокращает общественные услуги, ставит долг и прибыль выше экологического и человеческого благополучия, а также криминализирует социальные протесты против такой политики. Широкомасштабные протестные и культурные движения по всей Европе и миру,

такие как ежегодный протест EuroMayDay, начавшийся в начале 2000-х годов, сигнализируют о том, что прекарность порождается потерей - а именно потерей регулируемой промышленности, официальных трудовых договоров и прожиточного минимума (della Porta et al. 2015). Аналогичным образом, потери, вызванные демонтажем государственного социализма, придали новое значение прекарности. Конечно, экономическая и социальная уязвимость не является чем-то новым для Восточной Европы и Евразии, о чем свидетельствуют государственная социалистическая экономика дефицита и многочисленные неформальные практики бартера и обмена. Многочисленные внутренние иерархии внутри национальных экономик и между ними также свидетельствуют о том, что государственный социализм не предотвратил прекарность как таковую. Тем не менее, постсоциалистическая прекарность во многом нова, поскольку она отражает утрату прежних жизненных миров, на основе которых были (заново) созданы символические и материальные формы жизни.

Хотя постсоциалистическая прекарность возникла из своего собственного набора специфических геоисторических контекстов, она порождена некоторыми из тех же неолиберальных экономических практик, что и в других частях мира, таких как гибкость, неформализация, сокращение и трансформация социального обеспечения. Эти практики связаны с продолжающимся политическим дрейфом в сторону авторитаризма, неотрадиционализма и уменьшения демократической отдачи. Кроме того, постсоциалистическая прекарность включает в себя гибрид неолиберальных форм эксплуатации и социальной уязвимости с периодом полураспада государственных социалистических проектов, включая отказ от социалистического жилья и общинной социальности, недвижимости и городского планирования в "умных инвестициях", а также одновременный отказ от истории социалистической эпохи и ее рекламирование. Хотя "пост" постфордизма - это не тот же опыт, что "пост" постсоциализма, они имеют схожий регистр потери. В случае постсоциалистической прекарности речь идет о потере государственного социалистического общественного договора, который был отвергнут подавляющим большинством в 1989 году (Bonfiglioli 2015; Tkach and Hrzjenjak 2016). Фактически, поскольку принятие неолиберальных капиталистических практик совпало с демонтажем политических систем, экономические и политические потери и неопределенность удваиваются.

В то же время уже существовавшие внутренние экономические и социальные иерархии государственного социализма адаптировались к неолиберальному капиталистическому производству и распределению, увековечивая асимметрию и создавая новые возможности и уязвимости. Многие сексуальные, гендерные, этнические, расовые и классовые иерархии, скрытые риторикой государственного социализма о равенстве и гарантиях занятости, трансформировались в "периферизированные" трудовые ресурсы, которые подходили для нестандартной контрактной работы (Standing 2011). Удвоение прекарности и приспособляемость социальной иерархии к капиталистическому производству доказали постоянную необходимость неформальных стратегий выживания, некоторые из которых практиковались и при государственном социализме. Например, использование неформальных договоренностей для поиска работы, визовых документов, пересечения границ или контрабанды людей и товаров было практикой, хорошо известной еще при государственном социализме. В случае постсоветской России в начале капиталистической трансформации эти стратегии были использованы для управления ростом нестандартных контрактов и рабочей силы, находящейся во власти частных

предприятий, предлагающих сильно сниженную зарплату или работающих с задолженностью (Walker 2015). Нестабильность нестандартных контрактов и низкая или нулевая заработная плата по стандартным трудовым договорам стимулировали потребность в неформальных доходах в странах бывшего государственного социализма. Некоторые страны смогли стабилизироваться экономически, хотя даже после вступления в ЕС сохраняется экономическая неопределенность в условиях усиливающейся жесткой экономии.

Границы и пограничная работа

Помимо регистра потерь, постсоциалистическая прекарность фиксирует смещение (и новую) региональную динамику власти. Границы играют сложную роль в производстве постсоциалистической прекарности, включая то, как экономики "второго мира" располагаются как периферийные как символически, так и структурно по отношению к основным экономикам. В дальнейшем я буду более критически рассматривать эту пространственную локализацию власти в терминах ядра и периферии, но сейчас я хочу использовать ее для дальнейшего освещения специфики постсоциалистической прекарности. А именно, изменение условий границ и создания границ после демонтажа государственного социализма имеет большое значение для производства постсоциалистической прекарности. Два примера иллюстрируют это: первый касается расаилизированной границы между Российской Федерацией и советскими бывшими колониями Центральной Азии, а второй - пограничной работы, возникшей в результате так называемого дискурса "возвращения в Европу".

Хотя внутреннее разделение труда и иерархия существовали по мере того, как государственные социалистические экономические системы менялись со временем, эти практики либо инструментализировались как необходимые для социалистических способов производства, либо скрывались риторикой рабочего. Политическая экономия государственных границ в рамках государственного социализма, например, в СССР, безусловно, регулировала мобильность, экономические отношения производства и потребления, а также внутреннюю иерархию. Отношения ядра и периферии в рамках советского государственного социализма были нормализованы как часть социалистического "развития" и были институционализированы в рамках внутренних национальных границ между советскими федеративными социалистическими республиками. Тем не менее, к моменту распада Советского Союза существовали большие различия между более развитым северо-западом и менее развитым юго-востоком, что иллюстрируется разрывом между Балтийскими республиками и Центральной Азией. Например, на момент завершения советского эксперимента 69% населения и почти 74% производства были связаны с Россией и Украиной, однако ВВП на человека колебался от 150% от среднего советского уровня в Эстонии до 42% в Таджикистане (Maddison 1995, 153, цит. по Dunford 1998).

С окончанием советской взаимозависимости изменились символические и экономические условия границ между советской Средней Азией и республиками северо-запада, такими как Прибалтика, Россия и Украина. Детали того, как трансформировались иерархии и отношения, довольно сложны и, безусловно, продолжаются (Khalid 2014). Часть этой трансформации заключается в том, что национальные границы между советскими Федеративными Социалистическими Республиками, хотя всегда были политическими, не

понимались напрямую как расовые категории, уходящие корнями в колониальную логику. Скорее, Советский Союз пропагандировал идею "дружбы народов", представляющей из себя идею и практику, которая утверждала, что она находится за пределами расизма и эксплуатации, порожденных капитализмом и колониализмом. Хотя эта дружба действовала на иных условиях, чем западный капитализм и колониализм, она также (вос)производила расовые и этнические различия, а также связанные с ними иерархии. Действительно, как многие сейчас утверждают, советская "дружба народов" на самом деле была укоренена в этнических и расовых представлениях, даже если они не были открытыми (Хирс Хирс и др.)¹. Несмотря на антиколониальную приверженность, критику американского расизма и политическую приверженность самоопределению, советская модель дружбы опиралась на этнические и расовые представления, даже если не была явной (Hirsch 2005; Weitz 2002). Советская модель дружбы опиралась на предполагаемую "белую" и этнически превосходящую российской норме, которая претендовала на политический и культурный авторитет и которая неявно рассматривалась как "первая среди равных" (Martin 2001). Таким образом, глубокие изменения границ, вызванные распадом Советского Союза, сделали явным то, что уже было в силу этнических и расовых иерархий.

Распад Советского Союза создал международные границы между некогда внутренними отношениями между советскими федеративными социалистическими республиками. В результате изменились условия отношений между ядром и периферией, в том числе исчезла "дружба". Новые отношения власти между бывшими государственными социалистическими государствами продолжают обсуждаться и во многих случаях выявляют давнюю колониальную логику этих границ и пограничного строительства. Это касается как отношения к трудовым мигрантам из Центральной Азии (и других регионов) в России, так и "мигрантизации" неэтнических русских в России. Как утверждают многие ученые и активисты, российский национальный дискурс становится все более националистическим, ксенофобным и гетеро-патриархальным (Арнольд и Романова 2013; Салменниemi и Адамсон 2014; Сперлинг 2014; Захаров 2015). Инверсия, а фактически подрыв советского чувства дружбы наглядно демонстрируется дружинниками, такими как "Щит Москвы", которые в ходе "рейдов" преследуют "нелегальных" мигрантов.² Ежедневное и структурное насилие, которому подвергаются многие трудовые мигранты в результате официальных или дружиннических "рейдов", является крайним примером расиализации постсоциалистической прекарности (Раунд и Кузнецова-Моренко 2016; Саломатин 2013).

Хотя такое насилие, возможно, не является нормой, оно является частью более широкого дискурса, который продвигает этнизированное представление о том, кто является россиянином, и который все больше выделяет любого неэтнического россиянина как нелегала. Таким образом, расовое "отчуждение" мигрантов (как нелегальных или преступных) не только направлено против трудовых мигрантов, но и делает

¹ Практики советской дружбы порождали множество смыслов и результатов, не все из которых обязательно были негативными. Например, многие советские граждане понимали свои отношения друг с другом через дискурс дружбы. В этом отношении работа Джеффа Сахадео об интимных межэтнических контактах, в том числе через межнациональные браки, является убедительной. Используя устные истории, он показывает, как индивидуальный менталитет и опыт в советский период формировался под влиянием "дружбы" и брака (Sahadeo 2007).

² На сайте группы "Вконтакте" представлены фотографии и видеозаписи рейдов, в ходе которых иноэтнических русских преследуют, запугивают и жестоко избивают. https://vk.com/board_of_msk (последнее посещение - 19 января 2017 года).

подозрительными всех неэтнических россиян³. Интернационализация ранее внутренних границ способствовала появлению в России новых расовых дискурсов, в которых "русский" однозначно определяется как "белый" и противопоставляется внутренним и внешним другим, таким как "нелегальные мигранты", чеченцы и новые "миноритизированные" группы (Занка 2013; Захаров 2015). В то же время, эти новые дискурсы строятся на фундаменте давних имперских отношений, которые лежали в основе даже дружеских отношений в советский период.

Отход от символического языка дружбы также связан с дискурсами "возвращения в Европу" в бывшем Восточном блоке. Это второй пример пограничной работы, которая, как я предполагаю, способствует постсоциалистической прекарности. Как национальный дискурс в России принял цивилизационное и расовое "белое" понимание концепта российскости, так и идея "возвращения в Европу" по-разному продвигала цивилизационный и расовый дискурс в Центральной и Восточной Европе. По своей сути, мы должны рассмотреть, как политическое желание освободиться от советского (и российского) ига власти, будучи во многом антиимперским шагом, может вызвать другой колониальный поворот. То есть, поворот к "возвращению" в Европу нельзя рассматривать вне имперских проектов европейских империй, которые фактически установили глобальные иерархии и продолжают регулировать расистские границы Европы.

Здесь важно увидеть, как внутренние границы Европы, обозначающие бывшие социалистические страны как периферию Европы, также являются частью более масштабного проекта "Крепость Европа". Приток не менее миллиона сирийцев, ищущих убежища, в ЕС, начиная с 2015 года, иллюстрирует эту динамику. Дублинский регламент ЕС, который возлагает ответственность за регистрацию и обработку заявлений о предоставлении убежища на первую страну Шенгена, в которую прибывает беженец, лег огромным бременем на Грецию и Италию (Lehne 2016). Беженцы перемещались по альтернативным маршрутам, в том числе через Западные Балканы, пытаясь добраться до Венгрии и Австрии. В то время как одни принимали беженцев, многие другие не принимали, и правительства боролись за "справедливую" политику переселения беженцев. Страны бывшего коммунистического блока - Чехия, Венгрия, Польша и Словакия - отвергли эту идею и вместо этого милитаризировали свои границы и разжигали враждебность по отношению к беженцам (Gall 2016). Те же самые страны, которые заявили о "возвращении в Европу", в своем воинственном жесте по отношению к беженцам выполняли работу "Крепости Европа". Для стран, находящихся на физической и метафорической периферии ЕС, для которых "европейское" членство бросает вызов формам вложенного ориентализма, например, на Балканах, внутренние иерархии Европы проявляются по мере того, как основные экономики ЕС спорят в рамках бюрократического диалога, в то время как тысячи людей ищут убежища на его границах.

Эти многочисленные формы работы на границе производят государственную власть, а также маркируют определенных людей как мобильных, а других - как нежелательных. Политика, обеспечивающая крепость Европы, управляет транзитом нестабильных других, включая мигрантов всех видов, и связана с наследием и текущими путями неолиберального капитализма⁴. Динамика внутри ЕС также отслеживает расовую периферизацию Балкан и,

³ О расиализации трудовых мигрантов как нелегальных, преступных и больных см. Круглое и Кузнецова-Моренко (2016).

⁴ Райя Апостолова приводит прекрасный аргумент, что лингвистический акцент на сирийских мигрантах как на беженцах, а значит, приемлемом объекте сочувствия, не учитывает того, что экономические мигранты тоже

в другой степени, других стран бывшего коммунистического блока. Старые члены периферии ЕС (Португалия, Италия, Ирландия, Греция и Испания) соседствуют с новыми (в том числе из Прибалтики и Балкан), хотя эти иерархии скорее многослойны, чем консолидированы. Например, в 2015 году было сделано совместное заявление активистов и исследователей "Периферизация Европы", в котором говорится о том, как "центр" ЕС эксплуатирует свои периферийные территории и зависит от них. В заявлении провозглашается, что

Периферия продолжает принимать на себя самые жестокие последствия кризиса в Европе. Европейские окраины горят не только от стремительного распада (PIIGS) и нормализации бедности (Восток), но и от людей, пытающихся пересечь минные поля и моря, перепрыгнуть стены и заборы, спасаясь, чаще всего, от последствий западной имперской и неокOLONиальной политики.⁵

Пограничная работа по "возвращению в Европу" одновременно согласуется с текущим проектом Крепости Европа (который порождает свои собственные формы прекарности) и порождает новые формы прекарности, поскольку это "возвращение" порождает новые зоны периферии.

Глобальная колониальность и (вторичный) европоцентризм

Постсоциалистическая прекарность вызывает определенную сюжетную линию, которая (частично) фокусируется на утрате государственного социалистического проекта и последствиях неолиберальных капиталистических преобразований. Эта сюжетная линия, ключевым моментом которой является 1989 год, очевидно, сосредоточена на политической институционализации и гибели государственного социализма. Но что изменилось бы, если бы постсоциалистическая прекарность рассматривалась в рамках или наряду с другой сюжетной линией - глобальной колониальностью? Я задаю этот вопрос скорее для того, чтобы открыть дискуссию, чем для того, чтобы ее разрешить. Моя собственная интеллектуальная траектория и "слепые пятна" являются мотивацией для такого (пере)осмысления. Хотя я по-прежнему согласна с анализом прекарности и торговли людьми, который я представила в "Экономике насилия" (2015), я также задумалась о недостаточности моего критического теоретизирования. В частности, я хочу глубже задуматься о последствиях того, что Мадина Глостанова называет вторичным европоцентризмом. В то время как мое исследование раскрыло текущую динамику власти между Востоком и Западом и теоретически показало, как кампании за права женщин вплетены в неолиберальные экономические практики и репрессивную государственную политику в отношении мобильности и границ, я не рассмотрела в достаточной степени, как евроцентризм может быть восстановлен в критических постсоциалистических подходах. А именно, хотя неолиберальный капитализм формируется на основе истории колониализма, существуют важные ошибки, касающиеся, в частности, расового мышления, которые происходят, когда "глобальная колониальность" как таковая не включается в анализ

заслуживают уважения и заботы. Более того, различие между политическими и экономическими мигрантами на самом деле трудно поддается расшифровке. <https://asaculturesection.org/2015/09/14/of-refugees-and-migrants-stigma-politics-andboundary-work-at-the-borders-of-europe/> (доступ получен 22 января 2017 года).

⁵ Совместное заявление размещено на сайте: <https://peripheralizingeurope.wordpress.com/coomonstatement-eng-ro-de-slo-it-cast/> (доступ получен 28 января 2017 года).

постсоциалистической прекарности. В этом разделе я рассматриваю эти вопросы, пытаюсь преодолеть границы критической теории и непреднамеренное усиление, а не дестабилизацию европоцентризма.

Идея глобальной колониальности не является аргументом в пользу истории происхождения. Скорее, эта концепция раскрывает "условия эволюционного времени", которые европейский колониализм создал при открытии "Нового Света" (Lugones 2007, 192). Термины эволюционного времени создали такие понятия, как примитивность, цивилизация и культура, которые и сегодня обладают политической силой в своем современном обличье. Деколониальный ученый Мария Лугонес объясняет: "Европа стала мифически восприниматься как колониальный, глобальный, капиталистический мир, достигший очень высокого уровня на непрерывном, линейном, однонаправленном пути" (Lugones 2007, 192). Обозначение первобытного времени или места, таким образом, является мифическим, используемым для инициирования своего рода глобального мышления, которое рационализирует цивилизационные миссии и завоевания. Развивая эту идею, Анибал Кихано и Иммануил Валлерстайн утверждают, что

современная мировая система родилась в далеком шестнадцатом веке. Америка как геосоциальная конструкция родилась в далеком шестнадцатом веке. Создание этого геосоциального образования стало конститутивным актом современной мировой системы. Американцы не были включены в уже существующую капиталистическую мировую экономику - скорее, их создание привело к созданию капиталистической "мировой системы" (Quijano and Wallerstein 1992).

В рамках этой мировой системы конкурирующие претензии на превосходство представляли различные европейские (и англоязычные) державы как победителей или проигравших. Однако конкуренция за цивилизационный центр между теми империями и, в конечном итоге, нациями и государствами, которые претендовали на определение или могли претендовать на близость к таким понятиям цивилизации, создала уловку для (повторного) производства колониальности. Например, национальные нарративы, утверждающие, что они "невиновны" в колониализме, поскольку у них не было колоний, опровергают запутанные реалии глобальной колониальности.

В то время как все региональные или культурные проявления власти, возможно, не нужно рассматривать через призму глобальной колониальности, все же важно обратить внимание на различные отношения и взаимосвязи между империей и колониализмом в Восточной Европе и Евразии и глобальной колониальностью. Кроме того, я понимаю, что поворот к этой ориентации также является поворотом к Америке (включая Северную и Южную Америку и Карибский бассейн), и это может показаться повторным сосредоточением на Соединенных Штатах и определенных формах западной гегемонии. Я остаюсь открыто для такой критики, даже когда исследую, как постсоциалистическая прекарность вовлечена в глобальную колониальность. Конечно, мое понимание последствий "деколониального поворота" все еще находится в процессе. Этот процесс обусловлен моим положением белого ученого в американской академии, чья подготовка в области "региональных исследований" скорее воспроизводит, чем оспаривает вложенные иерархии в этой области, в том числе исторически и материально созданные в регионе и в самой американской академии. Моя критическая ориентация на исследования территорий подчеркивает недостаточность традиционных подходов, таких как советология и ее преемница демократизация. Напротив, критические постсоциалистические исследования включают подходы, которые рассматривают "постсоциализм" как спорный, культурно и

политически динамичный, и как глобально расположенный (а не только или в основном региональный). Наряду с этой критической ориентацией, глобальная колониальность бросает вызов скрытым формам евроцентризма, которые, несмотря на кажущуюся удаленность от Восточной Европы, на самом деле связаны между собой. В частности, я рассматриваю, как европоцентризм восстанавливается в теориях постсоциалистической прекарности, особенно в случае некоторых (ре)фреймингов упадка государственного социализма как постколониального условия.

Элла Шохат и Роберт Стэм объясняют, что европоцентризм является дискурсивным обоснованием колониализма и "процессом, благодаря которому европейские державы достигли гегемонии в большей части мира" (Shohat and Stam 1994, 2). Частью этого дискурсивного обоснования, как объяснил Лугонес, являются "термины эволюционного времени", которые разделяют земной шар как пространственно, так и временно на категории и масштабы примитивного и цивилизованного. Аналогичным образом, Шохат и Стэм заявляют:

Евроцентристское мышление приписывает "Западу" почти провиденциальное чувство исторической судьбы. Евроцентризм, подобно ренессансной перспективе в живописи, представляет себе мир с одной привилегированной точки. Он создает карту мира, в которой централизует и увеличивает Европу и буквально "принижает" Африку. "Восток" делится на "Ближний", "Средний" и "Дальний", делая Европу арбитром пространственной оценки, так же как установление среднего времени по Гринвичу делает Англию регулирующим центром временных измерений (Shohat and Stam 1994, 2).

В пространственном и временном плане евроцентризм приписывает "Западу" неотъемлемый прогресс, исключает (а иногда и присваивает) неевропейские традиции и сводит к минимуму угнетающие практики цивилизации, демократии и подобные обоснования/логики современности. Однако, как объясняют Шохат и Стэм, такое описание евроцентризма не означает, что евроцентризм как дискурсивное обоснование также не является сложным, противоречивым или исторически нестабильным (Shohat and Stam 1994, 2).

Учитывая, что Советский Союз стал врагом "Запада" во время холодной войны, может показаться странным позиционировать его в рамках евроцентризма. Однако, как пронизательно утверждает Мадина Тлостанова, Российская империя имеет вторичный статус внутри/по отношению к евроцентризму, поскольку она находится как внутри, так и вне западной эпистемы. Поэтому она классифицирует ее как подчиненную, что порождает "вторичный европоцентризм" (Тлостанова 2015). Она объясняет,

Для подчиненной Российской империи вторичный европоцентризм и имперское различие с более успешными капиталистическими империями современности (Великобритания, Франция, Германия) проявляются в формировании субъективности как колонизатора, так и колонизируемого. В глобальном масштабе это имперское различие мутирует в колониальное, поскольку Россия становится страной, которая позволяет западной философии, знаниям и культуре колонизировать себя без пролития крови, империей с янусовым лицом, которая чувствовала себя колонией в присутствии Запада и в то же время полусерьезно играла роль карикатурного "цивилизатора" в своих неевропейских колониях (Тлостанова 2015, 272).

Следует отметить, что вторичный европоцентризм России не уникален, поскольку, как утверждает Боавентура де Соуза Сантос, Португалия с XVII века фигурировала на полупериферии европейской колониальной практики (de Sousa Santos 2002). По мере того, как португальский колониализм перемещался из центра на периферию европоцентризма, Португалия воспроизводила себя "на основе колониальной системы" (de Sousa Santos 2002, 9). Однако российская подчиненная империя отличается от португальской тем, что она никогда не представлялась как центр и не находилась в центре. Одним из следствий этого является то, что европоцентризм циркулирует как "похороненная эпистемология" российской имперской практики. То есть, даже если политические и философские традиции выделяют российскую или славянскую цивилизационную разницу по отношению к Западу, эти традиции все еще связаны с доминирующей сюжетной линией западной гегемонии.

Например, Сьюзен Бак-Морсс утверждает, что современные проекты капитализма и социализма, в их оппозиционном положении между Востоком и Западом, на самом деле были разными подходами к одному и тому же проекту массовой утопии (Buck-Morss 2000). Привлекая идею миров мечты (и катастрофы), Бак-Морсс убедительно доказывает, что советская современность, как и капиталистическая, представлялась как повествование о прогрессе. Временность революции, авангарда и экономического планирования устанавливает советский мир мечты в рамках "эволюционного времени". Ключевой чертой этого нарратива прогресса была антиколониальная концепция "дружбы народов", которая, помимо создания сложных материальных реалий в их исторической и локальной специфике, также может быть прочитана как часть того, альтернативой чему она проектировалась, а именно расового капитализма. Например, советская "дружба" коренилась в патернализме, который неявно отдавал предпочтение этническому ранжированию народов и создавал экономическое господство посредством добывающего государственного социализма. Более того, идеологическая критика расизма и колониализма не избавила (советскую) российскую культурную или политическую мысль от античерноты или гетеросексизма⁶. Дело не в том, что российская или советская политическая гегемония такая же, как и западная (доминирующими) формами, но в том, что существуют связи и воспроизводство этих форм в локальных и исторически конкретных формах.

Например, одним из аспектов евроцентризма является создание (и оспаривание) расовых категорий. Хотя "раса" как система категорий является условной и полностью сфабрикованной, она сформировалась благодаря европейскому колониализму. Однако, как утверждает Фатима Эль-Тайеб в своей работе "Европа,

географическое и интеллектуальное происхождение самого понятия расы в Европе, не говоря уже об откровенно расовой политике, характерной как для ее фашистских режимов, так и для ее колониальных империй, этот континент часто оказывается маргинальным в дискурсах о расе или расизме, особенно в отношении современных конфигураций, которые часто тесно отождествляются с

⁶ Античернота — это термин, обозначающий основную внутреннюю логику европейского расового мышления, которая развилась благодаря колониализму, рабству и его последствиям. Я хочу сказать, что античернота может быть усвоена, даже если категория "раса" отсутствует или принимает другие формы (Law 2012; Sweet 1997). Мария Лугонес утверждает, что гетеросексуализм или половой диморфизм является конститутивным элементом колониальной/современной гендерной системы. Она пишет, что "сексуальные страхи колонизаторов заставили их представить коренных жителей Америки как гермафродитов или интерсексуалов, с большими пенисами и грудями с текущим молоком" (Lugones 2007, 195). В ее формулировке глобальной колониальности эта гендерная система занимает центральное место в операциях колониализма.

Соединенными Штатами как центром как явного расового дискурса, так и сопротивления ему.(El-Tayeb 2011, XV)

Даже в "мультикультурной" Европе, как утверждает Эль-Тайеб, наблюдается отказ от "расы" как наследия европейского колониализма. Но аргумент в пользу специфики конструирования и мобилизации этнических и национальных категорий в различных контекстах Восточной Европы (включая Балканы), России и Евразии не должен быть также отрицанием "расы" как эпистемы, информирующей об этих различных контекстах.

Хотя верно, что некоторые западные исследования рассматривают постсоциалистическую Восточную Европу как однородное продолжение "Европы" и расовой белизны, верно и то, что в разной степени и разными способами претензии на "европейскость" (равно как и отказ от нее, как в случае с Россией) порождают то, что Анико Имре называет интернализированным империализмом (Imre 2014)⁷. Подобно концепции вторичного евроцентризма Глостановой (хотя и по-другому), Имре утверждает, что существует взаимозависимость между западным и восточноевропейским национализмами. Эта динамика "преследуется интернализированными и редко признаваемыми следами империализма с обеих сторон" (Imre 2014, 113). Иллюстрацией этого интернализированного империализма является некритическое использование постколониальной парадигмы для объяснения (пере)отображения внутриевропейских иерархий, которые периферизируют новых членов, и для критики продолжающейся политической гегемонии Европы. Я замечаю, что это тонко выражено и в критике постсоциалистической прекарности, когда практики расизма, которые действительно являются инструментами новых национализмов в постсоциалистических контекстах, вытесняются первостепенной заботой о неравных отношениях по отношению к Европе или США.

Некоторые критики поспешили осудить западную гегемонию без критического осмысления того, как эта работа может восстановить внутриевропейские, а также глобальные колониальные отношения⁸.

Деколониальное прочтение прекарности

Чтобы поразмышлять о внутреннем империализме, который может остаться без внимания при критике постсоциалистической прекарности, я сопоставляю два изображения: одно - классическая картина Ильи Репина "Бурлаки на Волге", а другое - изображение жертвы советской секс-торговли, аналогичное тому, что было показано в

⁷ Миглена Тодорова проницательно доказывает, что транснациональное феминистское теоретизирование в США, критикующее господство белого феминизма, европейского колониализма и расизма, может проблематично распространить культурную и политическую европейскость и "расовую белизну" на социалистические страны и общества на Балканах, которые являются объектом ее внимания. Членство некоторых бывших государственных социалистических стран в ЕС, а также более широкие претензии на "европейскость" также способствуют формированию подобных взглядов. Она утверждает, что "эти представления, однако, неправильно понимают различные геополитические и культурные особенности постсоциалистических обществ на Балканах, которые часто объединяются под гомогенизирующими знаменами, такими как "Восточная Европа" или "Второй мир" (Todorova forthcoming). Размышляя над ее анализом, я вижу, что мое собственное мышление не уделяло достаточного внимания колониальным различиям между (и наследию) правящими империями в этом регионе, включая Османскую, Российскую, Габсбургскую, Викингскую, Германскую, Польскую, Шведскую и Монгольскую.

⁸ Полезное резюме некоторых из этих тенденций см. в Navickaitė (2014); Rexhepi (2016); Shchurko and Suchland (2021); и Todorova (2018).

популярном фильме "Лиля 4-Ever" (2002). Сопоставляя эти два изображения, я предполагаю, что экономика расы и труда в глобальной колониальности связана с обоими этими очень разными временами и местами. В частности, интернализированный империализм восстанавливает европоцентризм в обеих итерациях того, что можно понимать как две репрезентации эксплуатации труда. Картина Репина представляет собой нарратив, который выставляет Россию исключительной для западного империализма (и невосприимчивой к его расистским патологиям), в то время как образ Лилии и кинопродукция создают нарратив о постсоветской жертве секс-торговли как об исключительном субъекте глобальной прекарности. Я не ставлю под сомнение, что эти два образа представляют материальную реальность эксплуатации, и не критикую художника или фильм как таковые. Скорее, я обращаюсь к этим изображениям, чтобы указать на скрытый европоцентризм, который потенциально может быть проведен через нарративы, созданные этими изображениями.

Репин был уважаемым художником, получившим допуск в Императорскую Академию художеств, а также золотую медаль, дававшую ему право учиться в Европе. Он проводил время на Волге, делая эскизы, которые позже использовал для написания знаменитой картины "Бурлаки на Волге" в 1870-1873 годах. Известная, в частности, своим участием в коллективе художников-передвижников, картина часто ассоциируется с реалистическим движением, целью которого было показать человеческие страдания и неравенство в обществе. Здесь одиннадцать обветренных фигур напрягаются, чтобы вытянуть далекую баржу, используя только свои тела и кожаные ремни. Баржа несет экономические интересы России по Волге и Дону, а бурлаки зарабатывают скромную зарплату.

Термин "бурлаки" относится к рабочим-мигрантам, а также к другим понятиям, связанным с переходным. Представленные здесь бурлаки могут символизировать то, что некоторые в российской истории называют практикой "внутренней колонизации". Эта идея предполагает, что, не имея колоний для господства, Российская империя эксплуатировала своих "собственных" людей. В своем анализе внутренней колонизации Александр Эткинд предполагает, что русская культура породила категории касты (сословия), а не расы. Он заявляет,

В обществе внутренней колонизации, которое аннексировало, поглощало и истребляло других, почти все были одного цвета кожи. Чтобы играть роль расы, это общество создало сословия - юридическую категорию, которая по своей функции была схожа с кастой (Etkind 2012, 93).

Эткинд также утверждает, что элита подверглась своего рода "ориентализации", когда в конце XVII века Петр I ввел национальное законодательство, включавшее налог на бороду. Эткинд пишет: "Если каста заменяла расу, то борода заменяла цвет кожи" (Etkind 2012, 102). Аргумент о том, что существовали/существуют культурные заменители расы, не позволяет понять, как расовая логика, созданная европоцентризмом, по-прежнему служит основой для нарратива о "безрасовой" империи, не как тот же самый опыт, а как неявное и явное вложение в эту логику (Tolz 2019). Например, каким образом система сословности или налог на бороду формируют представления о русском национальном самосознании, которое действительно находится внутри этого европоцентристского ига? Когда Эткинд ссылается на термин Александра Герцена "белые негры" или "замороженные негры", чтобы проиллюстрировать отсутствие "расы" в России, он упускает из виду, что эта идея на самом деле является окном в расовое мышление, которое ссылается и полагается на "негра" как на

силу притяжения. Что значит использовать категорию "белый"? Разве это не "раса", в конце концов? Несмотря на то, что русское рабовладение было иным предприятием, чем трансатлантическая работорговля, его критика показывает вложение в расовую логику глобальной колониальности.

Более того, понятие "внутренний" также скрывает, как тела "того же цвета" проецируются в качестве таковых. Каким образом мириады народов, которых принято называть бурлаками, становятся внутренними? Плодородные города вдоль Волги стали местами европейского поселения, как манифест Екатерины Великой создал немецкие колонии. От бассейна Каспийского моря до города Казани, река Волга является маршрутом русского колониального завоевания, которое бросает вызов расово-нейтральной идее "внутренней колонизации". Расширение Российской империи могло опираться на логику внутреннего (или собственного) подчинения, но оно также опиралось на идею того, что Джон Ричардсон называет "бесконечной границей" (Richardson 2003). Территория Америки, которую открыл Колумб, была "целинными землями" российского имперского заселения - татары, чуваша, мордвина, черемисы, вотяки, ногайские татары, башкиры, калмыки, крымские татары, казаки, якуты, буряты, коряки и чукчи (например) являются terra nullius российской экспансии.

Второй образ постсоциалистической секс-торговли часто изображался в новостях и других СМИ. В нем фигурировала невинная женщина-жертва, лишенная самостоятельности в своих решениях по навигации в формальной и неформальной экономике (Suchland 2015).

Я предполагаю, что и здесь существует потенциал внутреннего империализма (или восстановленного европоцентризма). Феномен торговли людьми, и в особенности секс-торговли, проливает свет на постсоциалистическую прекарность в отличие от любой другой трагедии, связанной с демонтажем государственного социализма. В многочисленных художественных и документальных фильмах показаны уязвимость и насилие, которым подвергались многие, пытаясь найти работу за рубежом. Одним из примеров является фильм "Лиля 4-Ever", который даже использовался в качестве инструмента борьбы с торговлей людьми для повышения осведомленности общественности о торговле людьми в надежде в конечном итоге предотвратить ее. При рассмотрении прекарности и насилия, с которыми сталкиваются мигранты, вовлеченные (или вынужденные вовлекаться) в сексуальную коммерцию, часто затушевывается роль государства в создании этой прекарности. В другом месте я утверждала, что пример постсоциалистической торговли людьми способствовал такому взгляду на торговлю людьми, который деполитизировал основные экономические механизмы, толкающие женщин и других людей на опасный труд мигрантов. Следовательно, подходы к борьбе с торговлей людьми редко, если вообще когда-либо, затрагивают политику "переходного периода", которая породила безработицу, потерю заработной платы, лишение собственности и отсутствие безопасности. Преобладал карцеральный подход к торговле людьми, который усилил охрану границ и неформального труда, тем самым усугубляя регулирование, криминализацию и наблюдение за мобильностью. Это наглядно иллюстрирует тот факт, что Факультативный протокол ООН по торговле людьми включен в Конвенцию ООН о транснациональной преступности и коррупции.

В то время как фильм убедительно представляет насилие постсоциалистической прекарности - особенно в ее гендерной форме - фильм также представляет нарратив о торговле людьми, который смещает представление о том, как принудительный и

эксплуататорский труд в результате демонтажа государственного социализма связан с гендерным и расовым трудом в этой сфере и в глобальном масштабе, а не исключает его. Например, российская этническая миграция является частью более широкого национального и международного контекста, который включает в себя ценность и дополнительную мобильность, которая возникает в результате того, что человек имеет клеймо или расовую принадлежность "белый, но не совсем". Это важно еще и потому, что торговля людьми и принудительный труд в России в значительной степени связаны с трудовой миграцией из Центральной Азии. Доминирующие представления о "постсоциалистической торговле людьми" имеют тенденцию разделять системы эксплуатации, которые производят как "белых" жертв торговли людьми (часто в Европе и США), так и неэтнических (миноритизированных) россиян и трудовых мигрантов, эксплуатируемых в России, в том числе из Центральной Азии. Таким образом, важно думать об этих миграциях и системах угнетения, поскольку я теоретизирую постсоциалистическую прекарность как материально произведенную в бывшей советской сфере и встроенную в глобальную колониальность. Наконец, рассмотрение глобальной колониальности как силы постсоциалистической прекарности позволяет выявить преемственность, а не разрыв между различными географическими и историческими формами империализма.

Список литературы – см. в оригинале